

ДИСКУССИЯ

Константин Митрошенков

(Колумбийский университет в Нью-Йорке)

Открывая прошлое, мы открываем будущее

DOI: 10.53953/08696365_2026_200_4_114

Konstantin Mitroshenkov

(Columbia University in the City of New York)

Through the Past, We Discover the Future

«Историки о будущем». Само название этого сборника звучит как провокация и вызывает несколько вопросов. С чего бы историкам, по определению занимающимся изучением того, чего *уже нет*, высказываться о будущем, то есть о том, чего *еще нет*? Есть ли у историков и специалистов, занимающихся прогнозированием будущего, что-либо общее, помимо отсутствующего референта? И если историки все же высказываются о будущем, какую ценность имеют их высказывания? Что если, обратившись к истории за помощью в прогнозировании будущего, мы окажемся в пространстве дурной публицистики, использующей «исторические аналогии» для объяснения современности и в конечном счете уничтожающей любую историчность?

Сами по себе эти вопросы многое говорят о проблематичном статусе современного исторического знания. Как отмечает Хейден Уайт в книге «Практическое прошлое» (2014), становление истории как академической дисциплины в первой половине XIX века стало возможным благодаря отказу историков от своей традиционной роли поставщиков «практического знания». Новая догма требовала, чтобы прошлое изучалось «без какого-либо стремления извлечь <из него> уроки <...> и импортировать их в настоящее для того, чтобы оправдать текущие действия и программы на будущее»¹. Разумеется, разрыв истории с праксисом был неполным хотя бы потому, что недавно возникшая дисциплина сразу же стала обслуживать интересы национальных государств, обосновывая их претензии на обладание теми или иными территориями. Тем не менее спектр «практического» применения исторического знания был существенно ограничен, а представление о том, что для «объективного» изучения прошлого историк должен вынести за скобки все проблемы современности и ожидания от будущего, стало аксиомой для многих поколений исследователей.

В результате сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, историки самоустранились от участия в общественных и политических дискуссиях. По крайней мере, предполагалось, что открытая ангажированность неизбежно вступает в конфликт с профессиональными добродетелями историка. С другой

1 Уайт Х. Практическое прошлое / Пер. К. Митрошенкова и А. Арамяна, под науч. ред. А. Олейникова. М.: Новое литературное обозрение, 2024. С. 46.

стороны, само историческое знание не перестало использоваться для обоснования общественных и политических программ. Только «практическим» применением истории занимались теперь в основном философы, публицисты, политики и идеологи. Результатом стало не только манипулирование историей в самых нечистоплотных целях, но и возникновение огромного разрыва между теми, кто «практикует» историю, и теми, кто «профессионально» изучает ее. В то время как историки на протяжении всего XX века пересматривали прежние парадигмы, обращались к новым типам источников, экспериментировали с масштабом исследований, применяли теории из других социальных и гуманитарных наук, пытались отказаться от нарратива как основной формы представления своих находок, ставили под сомнение ключевые понятия своей дисциплины (событие, причинность и так далее), публичный облик истории как науки, занимающейся реконструкцией прошлого таким, каким оно было «на самом деле», оставался почти неизменным. В российском контексте наиболее красноречиво об этом свидетельствовала дискуссия о едином учебнике истории, концепция которого строилась на допущении, что существует одна-единственная «правильная» версия истории.

Золтан Болдижар Симон, Марек Тамм, Жером Баше, Итан Клейнберг, Ахим Ландвер, Антонис Лиакос, Эва Доманска, Марк Фишер и Лина Книжник — авторы, чьи статьи вошли в сборник «Историки о будущем», — бросают вызов такому положению дел. За исключением Фишера, который был теоретиком культуры и музыкальным критиком, все они в том или ином виде связаны с профессиональной историографией, но стремятся выйти за ее рамки, а заодно и пересмотреть сами эти рамки. Их основные задачи — это отказаться от линейного понимания исторического процесса, указать на параллели между историческим и утопическим мышлением и предложить такой способ рассуждения о прошлом и будущем, который был бы адекватной реакцией на политические вызовы современности. В своем комментарии я подробно остановлюсь лишь на нескольких статьях из сборника. При этом в концептуальном плане я буду опираться на рассуждения всех его авторов; мое решение продиктовано исключительно желанием сэкономить читательское время и журнальные страницы.

Отправной точкой для большинства статей становится осознание того кризиса, в котором находится не только история как академическая дисциплина, но и историческое мышление в целом. Ситуация постмодерна, характеризующаяся утратой историчности и одновременно неспособностью помыслить будущее, радикально отличное от настоящего², сменилась ощущением непредсказуемости будущего и ожиданием грядущих катастроф. Такие сценарии будущего опираются, с одной стороны, на линейную экстраполяцию наблюдаемых ныне тенденций (неолиберальные реформы, эксплуатация природных ресурсов, глобальное потепление, правый популизм, неоимпериалистическая борьба за передел сфер влияния, развитие искусственного интеллекта и других

2 Одним из первых на кризис исторического мышления в эпоху постмодерна указал Фредрик Джеймисон (см.: *Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма* / Пер. Д. Кралечкина, под науч. ред. А. Олейникова. М.: Издательство Института Гайдара, 2019). Схожим образом Франсуа Артог говорит о наступлении эпохи «презентизма» в последнее десятилетие XX века: *Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности* / Пер. А. Беляк // *Неприкосновенный запас*. 2008. № 59 (3). С. 19–38.

технологий) в будущее. В этом смысле мы по-прежнему находимся в плену презентизма с его заикленностью на настоящем. С другой стороны, катастрофические сценарии будущего (начало Третьей мировой войны, ядерный конфликт, превращение большей части планеты в непригодные для обитания зоны в результате климатического кризиса, резкий рост безработицы из-за неконтролируемого развития технологий) предполагают, что в какой-то момент количество изменений перерастет в качество и мы окажемся в мире, совершенно непохожем на тот, к которому привыкли. В таком случае задача заключается уже не просто в том, чтобы помыслить будущее, радикально отличное от настоящего, но в том, чтобы предложить некатастрофические сценарии будущего. Разумеется, не с целью самоуспокоения, но для более эффективного противодействия угрозам настоящего. И в этом деле, как свидетельствуют вошедшие в сборник статьи, история может сыграть решающую роль, если ей, конечно, удастся реализовать свой «практический» потенциал.

Наши ожидания от будущего напрямую зависят от того, как мы представляем себе исторический процесс. Возьмем, например, модерную идею прогресса. Представление о том, что на протяжении столетий человечество медленно, но верно совершенствуется как технологии, так и формы социальной организации, приводит к идее о том, что в будущем все существующие противоречия будут разрешены, а качество жизни достигнет непредставимого прежде уровня. Если же мы отказываемся от идеи прогресса, то не только исчезает уверенность в завтрашнем дне, но и сама способность мыслить будущее оказывается под вопросом. Именно это и произошло в XX веке, когда две мировые войны, серия геноцидов и изобретение оружия массового поражения подорвали веру в прогресс и показали несостоятельность основанных на них форм исторического мышления. Распад Советского Союза и крах социалистических режимов в Восточной и Центральной Европе, которые, при всей удаленности от революционных идей 1920-х годов, все же представляли собой реальное воплощение модерной идеи о возможности перехода из царства необходимости в царство свободы, завершили этот процесс³.

Реставрация современного режима историчности едва ли поможет нам выйти из нынешнего кризиса, да и есть серьезные основания сомневаться в самой возможности такой реставрации. Куда более продуктивным кажется подход, которого придерживается большинство авторов сборника «Историки о будущем». Отталкиваясь одновременно и от современного историзма с его идеологией прогресса, и от постмодернистского презентизма с его заикленностью на настоящем, они ищут способы возобновить разговор о будущем. Как отмечает в предисловии Андрей Олейников, авторов сборника

объединяет интерес к тому, что можно назвать «открытым будущим», если понимать это выражение в том смысле, который вкладывает в него Никлас Луман. <...> Открытое будущее — это относительная величина, которая определяется разницей между «настоящим будущим», состоящим из множества различных сценариев предстоящих событий, и «будущим настоящим», обозначающим окончательный выбор в пользу какого-то одного из этих сценариев, обычно осуществляемый с по-

3 О распаде СССР и кризисе исторического мышления см.: *Buck-Morss S. Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West. Cambridge: The MIT Press, 2000.*

мощью техник прогнозирования и вероятностного исчисления. Всякое подобное решение, будучи принятым, уменьшает степень открытости «настоящего будущего»⁴.

Интеллектуальный вызов состоит сегодня именно в том, чтобы вместо одного будущего, линейно продолжающего такое же унифицированное настоящее, помыслить множество сценариев будущего, вырастающих из множества разнонаправленных возможностей, существующих в настоящем.

Одну из наиболее радикальных попыток помыслить «открытое будущее» предпринимает французский историк и анархист Жером Баше в статье «Переоткрывая будущее: возникающие миры и беспрецедентные исторические будущие». Для этого он обращается к опыту сапатистской автономии, которая уже несколько десятилетий строится на юге Мексики. Сапатисты, наученные горьким опытом революций XX века, отбрасывают идею революционного авангарда, «якобы просвещенного наукой Историей и потому способного вести массы к заранее известной земле обетованной». Вместо этого они берут за основу принцип «идти, задавая вопросы». Участники революционного движения знают, какие цели преследуют и с чем борются, но не имеют заранее продуманного пошагового плана, который должен привести их к намеченному результату. План вырабатывается в самом процессе революционной борьбы и постоянно уточняется. Пожалуй, даже само слово план не вполне уместно в разговоре о сапатистской стратегии. Скорее, вслед за Баше правильнее говорить о «непланирующем предвосхищающем чаянии, <...> осознанном движении к тому, чего еще нет, при отказе от определенности и согласия на то, что пункт назначения возникнет только посредством изобретения пути» (77). Баше характеризует сапатистское будущее как «поссибилистское в том смысле, что оно предвосхищается, воображается и желается только как возможное будущее — неизбежно ненадежная возможность и вдобавок обреченная на опровержение в процессе своего осуществления» (79). Таким образом, сапатисты пытаются разрешить одно из центральных противоречий современного способа мыслить будущее, вытекающее из того, что Фредрик Джеймисон назвал «диалектикой различия и идентичности»⁵. Если мышление о будущем предполагает наличие плана, по которому события, как представляется, должны разворачиваться, то будущее лишается какой-либо новизны, оказываясь лишь продолжением и развитием настоящего; радикальный разрыв с существующим и прыжок в неизведанное в таком случае оказывается концептуально невозможен, хотя, казалось бы, именно такой разрыв и обещает сама идея будущего. Сапатисты же исходят из того, что их ожидания с большой долей вероятности будут опровергнуты, но вместо того, чтобы пытаться ликвидировать зазор между ожиданием и результатом, напротив, воспринимают его как необходимое условие радикальной трансформации существующего положения дел.

Открытость сапатистов к непредсказуемости будущего предполагает также пересмотр отношений с прошлым. Вместо того чтобы мыслить прошлое как отделенное непроницаемой стеной от настоящего, сапатисты видят в нем ресурс опыта, который может быть актуализирован и использован в текущей револю-

4 Историки о будущем: сб. ст. / Сост. А. Олейников. Рига: Üüberbau, 2026. С. 4. Далее все цитаты из книги даются с указанием номера страницы в скобках.

5 Jameson F. Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London; New York: Verso, 2005. P. xi–xvi.

ционной борьбе. Баше сравнивает подход сапатистов с идеями Эрнста Блоха, писавшего в книге «Принцип надежды» (1954–1959): «Жесткие разграничения между будущим и прошлым сами обрушиваются, и не бывшее будущее становится видимым в прошлом, тогда как отомщенное и унаследованное, опосредованное и исполненное прошлое — в будущем» (83). По сути, речь идет о применении поппилистского подхода теперь уже к истории. Точно так же, как настоящее несет в себе множество потенциальных будущих, прошлое полно нереализованных возможностей. Тот факт, что история пошла по тому, а не иному пути, вовсе не означает, что такой исход был единственно возможным. Таким образом, сапатизм порывает не только с идеей революционного авангарда, но и с характерной для ортодоксальной марксистской историографии телеологичностью и уверенностью в том, что история управляется принципом «железной необходимости».

На связь между «открытым будущим» и «открытым прошлым» указывает и Итан Кляйнберг в статье «Истинный север». По его словам, сегодня мы страдаем от одновременного закрепощения «и прошлого, и будущего — де-пастизации (*de-pasting*) и дефутуризации (*defuturing*), когда наша неспособность представить себе возможные варианты прошлого сочетается с неспособностью помыслить разнообразные формы будущего» (105). С одной стороны, попытки помыслить будущее чаще всего оборачиваются реставрацией современных мечтаний о том, как технологический прогресс позволит наконец достигнуть всеобщего благосостояния. С другой стороны, при изучении прошлого мы в основном обращаем внимание на те тенденции, которые оказались наиболее успешными и сформировали наше настоящее. Альтернативные же тенденции отбрасываются как маргинальные. В результате мы не только лишаем себя доступа к нереализованным возможностям истории, но и в каком-то смысле «доместицируем» прошлое, видя в нем исключительно «предысторию настоящего», как сформулировал однажды Георг Лукач⁶. Чтобы выйти из этой печальной ситуации, Кляйнберг предлагает радикализировать проект Баше, отказавшись вообще от всякого представления о «пути», по которому следует революционное движение. Вместо этого он предлагает мыслить отношения между прошлым, настоящим и будущим как водоворот, в котором

события то затягивает вниз, то подкидывает вверх, водоворот засасывает их в одном месте и выплевывает в другом, а то и вовсе уносит в неизвестном направлении. И дело не во множестве траекторий, которые создает этот водоворот, а в упомянутой темпоральной анархии, когда новые формы прошлого открывают иные будущие, а новые будущие — иные формы прошлого (114).

Обратите внимание на то, как мыслятся отношения между прошлым и будущим в этой модели. Изучая нереализованные возможности прошлого, историк подспудно артикулирует альтернативные сценарии будущего, опирающиеся на исторические прецеденты. И наоборот — новые сценарии будущего позволяют под новым углом увидеть прошлое, высветив те его аспекты, которые прежде считались несущественными или вовсе игнорировались историками.

6 Лукач Г. Исторический роман. М.: Common Place, 2015. С. 116. Стоит заметить, что Лукач, работавший в рамках марксистско-гегельянской традиции, не видел в таком подходе к истории ничего дурного и, напротив, считал его необходимым для актуализации прошлого в настоящем.

О прошлом как ресурсе для настоящего и будущего из разных дисциплинарных перспектив рассуждают также Эва Доманска и Марк Фишер. Доманска ссылается на концепцию «потенциальной истории», предложенную израильской исследовательницей и художницей Ариэлой Азулай. «Такой подход позволяет “извлекать из прошлого неосуществленные возможности как необходимое условие для воображения иного будущего”» (212–213). Схожим образом Фишер видит в «народном модернизме» 1960–1980-х годов (фильмах Стэнли Кубрика, бруталистской архитектуре, романах Алана Гарнера) указания на нереализованный сценарий будущего, которое, «подобно призраку, преследует тех, кто считает себя людьми прогрессивных взглядов, — это возможность культуры, которая могла бы продолжить то, что было начато в условиях послевоенной социал-демократии, но оставила бы всякий сексизм, расизм и гомофобию» (230). Обещанное будущее так и не наступило, а на смену народному модернизму пришел популистский консерватизм. Тем не менее нереализованные возможности все равно присутствуют в настоящем как потенциальность и в таком призрачном качестве оказывают влияние на нас. Задача историков культуры, пишет Фишер уже в другом своем тексте, как раз заключается в том, чтобы постоянно «нарративизировать прошлое заново» и противостоять реакционным нарративам, которые стремятся подавить нереализованный потенциал прошедших эпох, ждущий возможности пробудиться⁷.

В понимании Фишера ностальгия по послевоенной социал-демократии и народному модернизму не способствует пробуждению этого потенциала, а, напротив, «нейтрализует мощь реальных идей и стремлений, тогда витавших в воздухе»⁸. Однако Лина Книжник, авторка заключительной статьи сборника, оспаривает такой взгляд на ностальгию. Анализируя феномен ностальгии по СССР, она обращает внимание на ее созидательный потенциал.

Само по себе массовое ностальгическое переживание дает важный сигнал и заявляет своего рода «темпоральный протест» против доминирующих способов обращения со временем и господствующих политических нарративов, которые существенно ограничивают воображение и возможности. <...> <Ностальгию следует понимать как> запрос на альтернативные формы коллективного самопонимания, возникающий снизу, вне рамок официальной нормативности, и при должной рефлексии открывающий пространство для иных представлений о прошлом и, стало быть, о будущем общества (249), —

пишет Книжник. Следовательно, вместо того чтобы стигматизировать ностальгию по советскому периоду, историкам и исследователям культуры следует задуматься о том, какие неудовлетворенные запросы (на социальную справедливость, уверенность в завтрашнем дне и так далее) находят в ней выражение. Тем более что ностальгия, как признаёт Книжник, часто эксплуатируется реакционными режимами, и поэтому противостоящим им силам особенно важно понимать всю сложность ностальгического чувства и не отдавать его врагу без боя. Подобно другим авторам сборника, Книжник тоже призывает к пересмотру линейной концепции взаимоотношений между прошлым, настоящим и будущим. «Ностальгическое пространство, — продолжает она, — это пространство мечты,

7 Фишер М. Кислотный коммунизм (недописанное предисловие) / Пер. М. Ермаковой // Неприкосновенный запас. 2020. № 134. С. 18.

8 Там же.

которое имеет свой потенциал в качестве ресурса воображения» (251). Поскольку ностальгия обычно вызвана недовольством настоящим и страхом перед будущим, обращаясь к прошлому в ностальгическом модусе, мы в том или ином виде вырабатываем альтернативные сценарии будущего, те, что больше соответствуют нашим представлениям о справедливости, чем доминирующие нарративы.

С композиционной точки зрения мне кажется очень удачным решение завершить сборник «Историки о будущем» эссе Лины Книжник. Оно выводит теоретический разговор о темпоральности и режимах историчности в пространство актуальной политической дискуссии. После 2022 года необходимость критического пересмотра русской/советской/российской истории и деконструкции идеологием вроде «исторической России» и «триединства братских народов» стала очевидна. (Эта работа велась и до 2022 года, но в явно недостаточном объеме и без выхода на широкую аудиторию.) Такую форму «практического» применения истории можно назвать негативной, поскольку она предполагает критику существующих нарративов. Но указать на то, что история использовалась и используется элитами для оправдания политических авантур, — это лишь полдела. Важно еще и начать работу с теми аспектами прошлого, которые прежде не привлекали особого внимания исследователей и публики, но которые могут оказаться актуальными в сегодняшней ситуации. Проще говоря, если мы отказываемся от представления, что история России сводится к нарративу о становлении централизованного государства и его последующем расширении, то нам нужны другие, более демократические по своим следствиям нарративы.

Есть множество способов выработать такие нарративы. Один из них — это отказаться от заикленности на Москве, Петербурге и других имперских центрах и внимательнее изучать регионы, которые обычно проходят по разряду «периферийных»; более того, давать больше пространства исследователям из самих этих регионов. Можно пойти еще дальше и поставить под сомнение саму необходимость исторического нарратива, выстроенного вокруг национального государства, — например, как еще несколько лет назад сделали исследователи новой имперской истории из журнала «Ab Imperio», написавшие историю Северной Евразии⁹. Наконец, в духе «поссибилистской» (Баше) или «потенциальной» (Доманска) истории можно изучать те нереализованные возможности, которыми полна история нашего региона. Обратившись к опыту средневековых республик, народных восстаний, земского самоуправления, революционных организаций, авангардных культурных проектов и правозащитных инициатив, мы увидим проблески альтернативных *историй*, в свете которых торжество репрессивного государства и подавление низовых инициатив уже не будет казаться столь неизбежным.

Каждый из этих способов «переписывания» истории (а мой список не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим) предполагает определенный сценарий будущего. И наоборот, осознавая необходимость выработки альтернативных сценариев будущего, мы создаем запрос на альтернативные истории, которые могут стать для нас опорой в борьбе за это будущее. Ведь прошлое и будущее неразрывно связаны между собой. И сходятся они в точке, которую мы называем настоящим.

9 <Без подписи.> Предисловие: кому нужна будет история завтра? // Новая имперская история Северной Евразии. Часть 1: Конкурирующие проекты самоорганизации: VII–XVII вв. / Под ред. И. Герасимова. Казань: Ab Imperio, 2017. С. 9–12.